

Й

О

Д

А н д р е й
Р у б а н о в

УДК 821.161.1-313.2
ББК 84(2=411.2)6-44
Р82

Рубанов А.

Р82 Йод : [роман] / Андрей Рубанов. — М. : Альпина нон-фикшн, 2026. — 384 с.

ISBN 978-5-00223-713-5

Роман «Йод» — сплав автобиографии и романа воспитания. Это и не лишенный цинизма монолог героя, балансирующего на грани нервного срыва, и диагноз эпохи, и взгляд внутрь самого себя. В зарисовках московского быта и шокирующих сцен чеченской кампании автор исследует природу насилия и прощения. Нелинейная структура, сам ритм рубановской прозы и детализированные визуальные образы создают эффект полного погружения в дробящееся сознание, которое ищет точку опоры в мире, где «хороший парень» — не профессия.

УДК 821.161.1-313.2
ББК 84(2=411.2)6-44

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу mylib@alpina.ru

ISBN 978-5-00223-713-5

© А. Рубанов, 2008
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2026

Часть первая

Глава 1

2009 г. Последний дюйм

Я бы сшил тетрадь из кожи моего врага и записал туда, что надо прощать врагам.

Уметь прощать — целая наука. Я долго овладевал, но не стал профессором. Кому-то простил, кому-то не сумел.

Опыт отягощает. Я теперь хожу медленно, слова и жесты экономлю. Мне сорок лет, зачем много говорить? И так все ясно.

Утром медленно выхожу из дома. Пересекаю двор, иду в бар. Это всегда один и тот же бар, на первом этаже торгового центра «Бум» возле метро «Братиславская».

Две тысячи девятый год, Москва, Россия.

Бар как бар, просторный и чистый, ничего особенного, деревянные столы и стулья, несколько телевизоров. Я не знаю, почему я выбрал это место, на двух длинных этажах «Бума» есть еще несколько подобных заведений. Наверное, здесь уютнее, чем в других точках, и много дневного света, и цены повыше — и, стало быть, меньше случайной публики. И обслуживание, да. Я знаю по именам всех официанток, а они — меня. Бар популярный, девчонки хорошо зарабатывают, почти все шустрят здесь уже по несколько лет. В общем, причина такова: этот бар похож на классический столичный бар, как я его понимаю. Чисто и ничего лишнего.

Сажусь. Достая тетрадь. Нет, она не из кожи врага; мне не удалось снять с него кожу. Целый год готовился, но не смог.

В тетради — рабочие записи, телефоны, всякого рода памятки, проекты, списки и перечни дел. Никаких запланированных подвигов, как у барона Мюнхгаузена, никакого разгона облаков, все мелко, неинтересно: погасить копеечный должок у судебного пристава, внести в банк квартирную плату, оформить страховку на машину. Дел много, список насчитывает десятки пунктов. Большинство затей так или иначе связано с урегулированием моих сложных отношений с государственной системой. Мне с нею трудно, с системой, я с ней не уживаюсь, она вымогает у меня слишком много времени и сил. Я устал от системы, как от бесполовой жены.

Люди с деньгами нанимают для выполнения незначительной рутинной работы специальных секретарей — я же небогат и вынужден повсюду бегать сам.

Я небогат, да.

Перелистываю страницы, придумываю новый день.

Давно бросил пить, но приходить сюда не перестал. Шесть лет хожу. Как всякое животное, я подвержен дрессуре и привык начинать день под музыку из телевизора и смех официанток, подбадривающих друг друга перед началом тяжелой смены: сейчас я тут единственный клиент, вечером будет дым коромыслом. Хохот, пиво и так далее.

Одно время был еще один завсегдатай — человек лет тридцати с приятным волевым лицом и настороженным взглядом. Может быть, года два или два с половиной мы с настороженным незнакомцем первыми внедрялись в пустой зал и занимали свои столики. Я располагался так, чтобы видеть всех входящих, а он занимал другую стратегическую высоту — угловое место, максимально далекое от входа в туалет. И закуривал сигару. По этому стремлению оккупировать лучшую поляну подальше от параша, по некоторой напряженности лицевых мускулов, а также

по сигаре я подозревал в нем ранее судимого субъекта. Возможно, он едва-едва освободился и теперь специально посещал приличное место: завтракал и наслаждался дорогим табаком в попытке отвыкнуть от тюремно-лагерных реалий. Так я думал. Потом настороженный пропал. Наверное, деньги кончились.

Через полчаса закрыл тетрадь. Иногда я жалею, что она не из кожи врага. Теперь пора идти. Перед тем как покинуть бар, захожу в туалет, достаю из кармана флакончик йода. Отвинчиваю крышку и нюхаю.

Запах простейшего медицинского снадобья помогает мне жить.

Когда спускался в метро, сбоку приблизилась женщина. Бывают такие — несуразные, оплывшие, — смотришь и думаешь: господи, милая, кто ж с тобой совокупляется? Вдруг она тихо, с доброй улыбкой, как бы по секрету, сообщила:

— В прошлом годе поехали на машине в Геленджик... Кажись, впятером... Не помню всколькером... Так пока ехали — нас восемь раз оштрафовали!

Я кивнул и ускорил шаг. Я видел ее впервые в жизни. Доверительная интонация меня тронула. Восемь раз оштрафовали, ничего себе.

Почему именно мне выпала честь воспринять столь захватывающий факт чужой жизни, я не задумался. Ответ давно известен.

Тут же память подкинула картинку из бурного прошлого: тюрьма, общая хата, сто тридцать человек, в дальнем углу, возле телевизора, стою я — прибившийся к злодеям коммерсант, неплательщик налогов; открывается дверь, вталкивают новоселов, семь единиц, из них, как обычно, один более-менее нормальный, с пакетиком личных вещей, остальные — конченные демоны, клошары, божьи люди;

тугою волною приплывает незабываемый перегарно-генитальный запах; один из новичков тут же прорывается сквозь толпу — оттирая плечом бедолагу Димочку Сидорова, который нянчит забинтованную ладонь, — прямо ко мне, упирает в область моего подбородка взгляд, мутный, как картофельный отвар, и пневмонически хрипит:

— Помоги, уважаемый, дай десять рублей, не хватает опохмелиться.

В его волосах крупные, бронзового цвета вши.

— Откуда? — равнодушно отвечаю я, отшагивая и одновременно изумляясь — не тому, что несчастный перепутал изолятор с площадью трех вокзалов (стресс, духота, белая горячка, бывает), а тому, что из ста тридцати кандидатов на роль бескорыстного спонсора выбран именно я. То есть смотрюсь самым великодушным и отзывчивым. И при десяти рублях.

А вот картинка номер два: начало благополучных нулевых, две тысячи второй год, офис фирмы «Интер Оптима», торговля мягкими игрушками китайского производства, зайчиками и белочками, по радио сообщают об избиении скинхедами лица кавказской национальности, я вслух удивляюсь, что, мол, тоже в определенном ракурсе выгляжу кавказцем, меня и в Чечне за своего принимали, и в метро езжу много, но столичные нацисты что-то ни разу не покусились; окружающие смеются. Потому что, Андрей, на твоей роже написано, что ты любого зубами загрызешь, без особых сомнений...

И сейчас, оставляя за спиной чувиху, восемь раз оштрафованную, я опять приговариваю себя: ты даже не знаешь, как и кем ты выглядишь. То ли добряком, то ли психопатом. Ты сам не знаешь, кто ты. Определись, а потом хотя чего-то.

Мне неизвестно, кто я.

Мне также неизвестно, что представляют собой окружающие. Восемь раз оштрафованная женщина с багровыми

подбрудками и плохо выщипанными усами может оказаться не той, кем она кажется, — городской полусумасшедшей, а, например, активисткой запрещенной левой политической партии. И матерью прекрасных детей. Всколькером они там ехали в свой Геленджик?

А вот этот долговязый, грубо меня толкнувший, в небрежном прикиде профессионального балбеса (художественно надорванное рубище с надписями, на шее и запястьях кожаные верижки) — не исключено, умный и тонкий паренек, поэт и эстет.

Хотя лучше наоборот: оштрафованная — на самом деле неудавшаяся поэтесса, а юноша — подпольный революционер.

Опыт мешает объективно судить о людях. Судить — вообще последнее дело.

Находясь в толпе, я часто погружен в себя. Пребываю в капсуле. Толпа — основная моя территория обитания, она нежно мною любима и тщательно изучена, она возбуждает меня и питает собою. Но если вокруг смыкается капсула, я меняюсь. И когда меня о чем-то спрашивают (Как пройти на «Новокузнецкую»?) — смотрю, не понимая. В моем взгляде, я думаю, читается приблизительно следующее: «Кто ты и что тебе от меня надо?» Уловив такой взгляд, заблудившийся гражданин отваливает. Я вам не справочное бюро. Имейте голову на плечах. Лично я, погружаясь в метро в незнакомом городе, в Праге или Лиссабоне, первым делом покупаю карту.

В этом месте многие недоуменно или даже презрительно хмыкнут. Смотрите-ка, знаток человеков, Прага-Лиссабон, хуе-мое, — а передвигается на метро. Машину бы купил для начала.

Машина есть. Имеются и друзья, готовые в любое время суток примчаться по первому звонку и отвезти меня

в любую точку обитаемой Вселенной. Есть деньги: можно взять такси. Но каждое утро я шагаю к метро. Дело в том, что я мегаломаньяк. Закоренелый, со стажем. Лучшей машиной для передвижения по планете я считаю танк Т-90. Размениваться на меньшее нет смысла. Все или ничего. Или на танке, или пешком.

Подземелье, особенная сухость воздуха, людской водоворот. Все равны, как в бане. Все идут либо едут с одинаковой скоростью, за одни и те же деньги. Это очень интересно — когда все равны. Наверху не так, наверху у одного мигалка, у другого пятьсот лошадиных сил, третий вообще никуда сам не едет, посылает курьера. В метро проще. Отсутствие возможности выделиться, кого-то из себя изобразить меняет людей, они становятся самими собою; просто мужчины и просто женщины двигаются из пункта А в пункт Б. Стойте справа, проходите слева, никаких понтов. Выглядываю из своей капсулы: вот идет яркая, высокая, в кожаном плаще, но смотрит равнодушно, на мужские улыбки не реагирует, ей не нужны мужчины из метро, — и выглядит поэтому приятно, не охотницей за самцами, а обычной девушкой в плаще. Наверху, знаю, она изменится, станет резче покачивать бедрами, гордо изгибать бровь. А тут она нормальная, спокойная.

Однако ярко одетых людей мало. Большинство в куртках и пальто темных тонов. Смотрятся мрачновато. Не потому, что жизнь мрачная, а просто на темном не так видна грязь. Грязи много, ее непрерывно отчищают и соскребают, она опять появляется. Вполне извинительно для сооружения, ежедневно перевозящего девять миллионов человек. Московский метрополитен дважды за год перемещает вокруг земного шара все население Китая. Вот где понты.

Я мегаломаньяк, мне нравится рассуждать в таком ключе.

Раньше по дороге на работу я читал журналы или, гораздо реже, книги; обложки оборачивал в газету (потому что скрытный). Теперь читаю мало, больше стою, уперев взгляд в стену.

По полу вагона от стены к стене катается пивная бутылка, половина пассажиров наблюдают: какое-никакое, а зрелище. Наконец один хорошо причесанный дядя находчиво прижимает ее подошвой — теперь все смотрят уже на дядю.

Я провожу в метро солидную часть времени, почти по два часа ежедневно. Пятьдесят минут утром, когда еду из дома в контору, и столько же вечером, в обратном направлении. С одной пересадкой. И так семь лет подряд, с две тысячи второго по две тысячи девятый. Кроме дома, офиса и подземки, я бываю в трех-четырех барах. Один из них — возле дома, рядом с офисом. Вот вся моя территория обитания.

Потом меня накрывает. Приступ начинается с легких наплывов беспокойства. Становится неуютно, как будто знаешь, что где-то рядом произошло что-то очень плохое. Немедленно замыкаюсь на себе; все внешнее меркнет. Если бы сейчас рядом волшебным образом появились Мэрилин Монро и Элвис Пресли — это не вызвало бы никаких эмоций. К черту все и всех, мне хуево. Будем точными в словах: не «плохо» или «дурно», а хуево. Слабеют ноги. Хочется немедленно что-то сделать. Как минимум — сменить позу. Перейти с одного места на другое. Из одного конца вагона — в другой конец. Еще лучше вообще покинуть вагон — но он, со мною в утробе, летит по черной каменной трубе, бежать некуда, капкан, тупик. Дышу носом. Чужие колени, плечи, спины — все враждебно. Одна пара голых длинных ног превосходна, но все равно враждебна.

Жжение в груди. Лицу холодно — отливает кровь. Бросает в пот. Кажется, что сейчас я потеряю сознание, упаду, как мудака, в новых штанах на грязный пол, подбегут люди, кто-то попытается помочь, а кто-то под шумок обшарит карманы, вытащит деньги, украдет паспорт, телефон. Нужно срочно возвращаться домой. Людные места, улицы — не для меня.

Это модная современная болезнь, астеноневроз. А то, что со мной происходит, красиво называется «паническая атака». Резкий приступ страха без какой-либо внешней причины. Фокусы подсознания. Болезнь распространяется, невротиков все больше, не верите — спросите у психиатров. Жизнь становится сложной, непонятной, а человек — существо простое. Он рожден, чтоб глотать горячее мясо, радоваться, плодиться, убивать врагов, стареть и умирать, — он не выдерживает давления системы, которую сам же создал. Он напридумывал себе всяких инфляций, рынков сбыта, распродаж, сотовой телефонии, сам себя утопил в океане проблем. И вот — некоторым из нас страшно.

Глубоко дышу, терплю. Приступ надо просто переждать. По возможности успокоить себя, отвлечься, вспомнить что-нибудь хорошее. Подождать — нервы сами придут в равновесие. Но пока мне очень страшно. Пытаться успокоиться, уговорить себя — бесполезно. Весь сжат, напряжен. Едва удерживаю контроль. Вцепился в поручень мокрой ладонью. Дышу. Другая ладонь в кармане, там — лекарства, походная аптечка невротика. Перебираю пальцами пузырьки и облатки, это успокаивает. Считаю секунды. Перегон между станциями — не более трех минут, едем уже две; надо выдержать. Пора продвигаться к двери, но нет сил. Вроде бы следует наклониться к уху впереди стоящей дамы с огромным задом и узнать, собирается ли она выходить, — но губы и язык онемели. Ну и зад, ни справа

обойти, ни слева, с таким задом нельзя ездить в общественном транспорте, такой зад следует оплачивать отдельно, как багаж.

Приехали. Грохот открывающихся дверей ужасен. Бежать, спастись, иначе пропаду. Ввинчиваюсь плечом вперед. Перед глазами суетятся радужные мухи. Разрешите. Извините. Простите. Бля, дай выйти. Вас девять миллионов, я один. На перроне становится легче. Дышу носом. В кармане лежат чужие деньги — думаю только о них. Сейчас упаду, веером вылетят сизые тысячные купюры — будет давка, меня затопчут. Нет, не вылетят — у меня карман на пуговице. Еще чуть легче. Значение кармана на пуговице трудно переоценить. Лавирую, сам себе омерзителен. Дожил. С ударением на «о». Сорок лет. С воем и ревом из черной дыры вылетает новый поезд. Отойдите от края платформы. Не отходят, на краю всегда интереснее, это вам подтвердит любой мегаломаньяк. Перед эскалатором давка. Вливаюсь, думаю про пуговицу, мусолю таблетки в кармане. Падать нельзя, сомнут. Сбоку вдвигается миниатюрная старуха. Есть такие жилистые старухи, вечно лезущие, по простоте натуры, напролом, работающие корпусом не хуже хоккейного защитника. Уступаю ей проход. Может, она тоже, как я, ничего не соображает, давление разыграло или сердечко прищемило. Давай, бабуля. Валим отсюда. Наверх, где солнце.

Подкладкой к моему плачевному состоянию — молодой крепкий дядя с искаженным лицом бежит из подземелья на воздух — была злость. Я знал, кого винить. Не виноваты ни Бог, ни судьба, ни обстоятельства. Сейчас я плачу по счетам, которые сам себе выписал. Мне воздалось за каждый стакан водки, за каждый грамм наркотика, за каждый день, проведенный в нервной лихорадке возле сейфов с миллионами, и позже — в тюрьме, и еще позже — среди

дымящихся грозненских развалин, и еще позже — когда выбирался из нищеты, в угаре, в тумане, во тьме, в долгах, в бесконечных домашних скандалах, на зубах, на жилах, — пока не выбрался.

Я сам с собой это сделал.

На поверхности ветрено. Небо с единственным черно-серым облачком с самого края — словно протирали хрустальный купол и забыли тряпку. Мне легче. Все вокруг выглядит избыточно пестрым, сложным. Дымит, вращается, лязгает. Однако следует признать, что налицо порядок. Светофоры мигают, мусор ликвидирован, на каждом углу продают еду и чтиво. Банкоматы отщелкивают денежку. Система работает. Вдобавок — совершенствуется. Пять лет назад было грязнее и бестолковее.

Дикари вроде меня не любят систему, но уважают. Не за ее переламывающую хребты силу, а за то, что она эту силу наращивает. В прошлом году мою лавку проверили два раза, в текущем году — четыре.

Забыл сказать: я ведь лавочник.

А потом — опа — отпускает меня.

Ноги еще слабые, но в груди уже прохлада. Тут же хочется курить. Однако перед тем, как поднести огонь к сигарете, надо потянуть носом воздух и посмотреть вокруг.

Страх быстро исчезает; это не обычный страх, а особенный, больной, сам собой выпрыгнувший из недр подсознания, и исчезает он тоже по-особенному, торжественно, и даже некий музыкальный аккорд гудит в такую минуту в голове: то ли клавесин, то ли орган. Все вокруг понемногу устанавливается на свои места, в ячейки, стойла, гнезда, но в тот момент, когда оно еще не установилось, я вижу мир таким, каков он есть на самом деле.

Все очень красиво. Городской день в предполуденный час, с его вывесками, рекламными щитами, разноцветными

автомобилями, женщинами, детьми, кошками и собаками. Все яркое, все бодрит и призывает наслаждаться. Но красота подобна кисейному покрывалу, сквозь нее просвечивает серое, кривое, дурно пахнущее. Настоящее. Уродливое.

Когда приступ паники совсем пройдет, город снова сомкнется в привычную трехмерную картинку, с привычными запахами и звуками. Но эти тридцать или сорок секунд я использую на то, чтобы прозреть безобразное внутри блестящей красоты.

Я живу в уродливом мире. Никто не виноват, и я тоже не виноват.

Как и любой другой из ныне живущих, я с рождения раздавлен величайшей из диктатур — диктатурой красоты и гармонии.

Так сложилось, что я утратил веру во всеислие красоты и гармонии. Сейчас я не смотрю на красивые тачки и рекламы. Мой взгляд ищет и находит бродяг с побитыми мордами, зевающих ментов, тощих, голодных гастарбайтеров, перекошенных колченогих стариков, угрюмых алкоголиков, и меж двумя красивейшими, в блеске чисто вымытых окон фасадами недавно отремонтированных жилых домов мне виден двор, где на уродливом балконе сушится бледное тряпье; мне кажется, я даже чую его запах, и это настоящий запах настоящего тряпья — какая-то старуха уже двадцать лет жалеет его выбросить, и я чувствую присутствие этой нищей старухи, чья жизнь сложилась не так красиво, как она хотела.

Для каждого из нас красота есть цель и средство, мерило всего. Красота — это хорошо, это правильно. Красота — это круто. Разумеется, я тут говорю не только и не столько о физической красоте, а о красоте вообще. О красоте духовной. О благородстве поступка, душевного движения. О гармонии отношений.

Я не доверяю красоте и гармонии. Я верю в уродливое. Уродливое всегда честнее. Превратить красивое в безобразное можно только одним способом: разрушив его. Применив насилие.

Я его уважаю, насилие.

Еще полчаса дороги под землей, в красивом вагоне, с пересадкой на недавно открытой, очень красивой станции «Трубная». Любой школьник скажет, что московское метро — самое красивое в мире.

Мой дед в тридцать третьем году строил одну из красивейших станций — «Сокол» — и параллельно учился на историческом факультете Московского университета. Строил и учился, пока особый отдел не выяснил, что дед — кулацкий сын. В те годы органы госбезопасности представляли собой мощный и гармоничный механизм. Работали с размахом, эффективно и красиво. Деда выгнали отовсюду, практически в один день. Он собирался покончить с собой, но не смог, и правильно сделал — иначе я бы не родился.

На «Тульской» еще красивее, прямо дух захватывает. Высотное здание налоговой службы, рядом — еще выше — Арбитражный суд. До моей лавки пять минут пешком по узкому переулку.

Сначала надо миновать ворота, пройти семь шагов мимо будки охраны, потом открыть дверь. Ворота всегда настежь, а дверь — не заперта. Я потянул ручку, но тяжелая железная створа не подалась. Я потянул сильнее — с тем же успехом. Уперся ногой, приложил силу — ничего.

— Эй, эй! — крикнул охранник. — Не ломай, ебты!

Силы во мне, семидесятикилограммовом, насквозь прокуренном, не много. Руку еще могу сломать или нос, но стальной заслон — никогда. Наш невротик выругался; впрочем, полусшепотом. Опять рванул. Он любит разрушать, и вдобавок ему до тошноты, до зубовного скрежета надоела

эта дверь, крашенная серо-коричневым, ежедневно одинаковым движением открываемая на протяжении многих лет; и слегка перекошенные ворота, и семь шагов мимо будки, и квадратная мусорная урна в пятнах высохшей слюны (плевали явно не снайперы). И охранник тоже надоел.

Он меня знал, конечно. Не по имени, но в лицо. Подошел, звеня ключами. Отодвинул плечом, схватил за запястье, без церемоний оторвал пальцы от скобы. Сообщил, отмыкая замок:

— Распоряжение коменданта. С сего дня дверь держать закрытой. Понял, ебты?

Нет, я все понимал. Я его понимал лучше, чем он сам себя понимал. Ему было за пятьдесят, и он всего только охранял ворота, а я ежедневно фланировал мимо него то в галстук, то в дубленой куртке, озабоченный делом. Здоровался, конечно, но не за руку. Также было понятно, что охраняет он не меня и не имущество моей конторы, он охраняет здание ото всех, в том числе от тех, кто арендует здесь комнаты, он работает на хозяина недвижимости; причем тут я?

После подземных приключений, после панического бегства из метро, после забега по ступеням эскалатора невротик ничего не соображал, ощущал слабость, в голове словно пузыри лопались. Он промолчал, фиксируя ощущения: чужое плечо давит, чужая ладонь отжимает, чужая кожа, сухая, шершавая, заскорузлая, но не грубая, как у пролетария или крестьянина; обычная кожа ленивого самца в начале старости.

Я ничего не сказал. Воскликать что-то вроде «Нельзя ли повежливее?!» — не мой стиль. Было бы лучше и доходчивее ответно нахамить, пригрозить, обматерить — иначе говоря, поставить на место. Но невротик не сделал и этого. Только опустил ниже голову и шагнул в дверной проем.

Секунда — и решение оформилось. Оно давно зрело, копилось по каплям, лужицей на дне души, а сейчас вдруг стало ясно, что жидкость не простая, она горит — и вот вспыхнула, и текучий огонь мгновенно пропитал меня всего.

Не могу больше. Не способен видеть этого толстого ключника со взглядом бывшего вкладчика компании «МММ». Не хочу — и не могу — видеть дверь, закрытую по распоряжению коменданта, уже пять лет живущего на деньги таких, как я, и мне подобных. Не хочу и не могу восклицать, хамить, ставить на место, фланировать в галстук и без такового. Давным-давно не хочу и не могу, но продолжаю на силе воли, на упрямстве, заставляя себя, насилюя, уговаривая — хватит, ебты, насилия над собой. Хватит разрушать себя красивыми сказками про энергичных бизнесменов, бодро кующих прибавочную стоимость. Я не могу жить без разрушения и насилия, но я ненавижу это.

Два марша железной лестницы, деревянная дверь — вот я и в лавке. Тут мое рабочее место, тут я делаю деньги. Мне приветственно отмахивают ладонями два моих компаньона, они же лучшие друзья. Миронов и Саша по прозвищу Моряк. Оба красивые люди, но их красота надежно уравнивается уродливой одеждой Миронова и обстановкой, которую чистюля назвал бы бардаком или свинарником, а взрослый занятой мужчина вроде меня, или Миронова, или Саши Моряка — рабочим беспорядком.

Я здороваюсь, снимаю пиджак и вешаю его на спинку стула.

Пиджак, стул, стол, компьютер — тут все мое.

Сегодня я пришел сюда в последний раз.

Глава 2

2000 г. Путь палача

Мартовской ночью двухтысячного года я решил его убить и снять с него кожу.

Я готовился десять месяцев и сейчас решил: да, пора. Больше не могу. Надо казнить гада.

Готовился, разумеется, морально. Не точил ножа, не смазывал пистолета — просто внутренне, мысленно, тайно ото всех привыкал к статусу убийцы. Почти год привыкал. А нож наточить — всех дел на полчаса.

Теперь сидел на кухне, экзальтированный и обкуренный (это синонимы). Слушал, как шумит закипающая в чайнике вода. Смотрел, как на краю пустого стола ищет пожрать одинокий таракан.

Ближе к утру от раздумий я почти обессилел и достиг той степени протрации, когда сознание ищет знака извне. Тихо прошел в комнату, снял с полки молитвенник, вернулся в компанию к таракану и чайнику, вслух (громким шепотом) прочел Покаянный канон, выученный едва не наизусть еще в тюрьме.

«...Избави душу мою Своею честною кровию от гордости, ею же мя сопотивник напои».

Но не успокоился. Это было бы слишком просто: произнести шепотом несколько десятков фраз и простить своему бывшему другу все, что он со мной сделал.

Тогда обратился к Библии. Трижды открыл наугад и ткнул пальцем.

«...Возьми шило, — прочел я первый раз, дрожа и задыхаясь, — и приколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек»*.

Вот так поступают с рабами, понял я. Прибивают за уши к воротам дома. Может, мне сделать его своим рабом? Нет, не мой метод. Надо убить, и точка.

Открыл снова.

«...За сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! Ибо ему не должно жить»**.

Сглотнув комок, в третий раз поискал Божий промысел.

«...Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши; потому что есть возмездие за дела ваши»***.

Легко сказать: укрепитесь. Меня обманули. Развели, опустили, ограбили. Если угодно — растлили. Можно ли растлить тридцатилетнего мужчину? Конечно. Это просто. Надо всего лишь отобрать у него все. В том числе последние остатки веры в человека.

Это очень уродливая, глупая история. Вдобавок банальная. Таких историй вам на любой пересылке расскажут десятком за ночь. Человек отсидел три года, вышел — а его товарищ украл все его деньги и сбежал.

Мне было тридцать лет, и одиннадцать месяцев назад я освободился из тюрьмы. У меня были жена и пятилетний сын.

...Отложил Библию. Приколотил еще одну папиросу. Курил много, начинал с утра. Марихуану, реже — гашиш, если удавалось достать. Курил для развлечения, просто за неимением лучшего.

Смотрел за окно и думал, как буду его убивать. Как сниму с него кожу и сделаю себе портфель. Или лучше — тетрадку.

* Второзаконие 15:17.

** Деяния 22:22.

*** 2-я Паралипоменон 15:7.

Деньги, тюрьма — к черту их. Тюрьма не беда. Я решил его казнить, потому что он поломал мой жизненный план. План был простой и сильный: когда-то, в возрасте четырнадцати лет (или между тринадцатью и четырнадцатью, точнее не скажу), я решил, что буду непрерывно и терпеливо, шаг за шагом, день за днем двигаться сразу по всем направлениям. Как дерево. Вверх, вниз и немного в стороны.

В двадцать семь я сел в тюрьму, но не расстроился. К моменту водворения в лефортовскую одиночную камеру секретный план выполнялся с большим опережением графика. В семнадцать я был студентом лучшего в стране университета, в двадцать — демобилизованным солдатом, владеющим немецким языком и навыками рукопашного боя, с двумя блокнотами стихов в дембельском рюкзаке. В двадцать пять бывший студент, солдат и поэт уже манипулировал миллиардами и ездил по столице на автомобиле «Сааб 9000».

В том году такие машины закупила кремлевская администрация. Постовые милиционеры, заметив несущийся по осевой темно-синий болид, принимали меня за кремлевского администратора и норовили отдать честь.

Экстраполируя темпы своего восхождения, я понимал, что к сорока годам стану одним из богатейших людей мира. Деньги меня не интересовали: мелко, скучно; я хотел повернуть ход мировой истории. Закрутить планету в обратном направлении. Посадить яблони на Марсе. Что-то такое.

И вдруг — бах! бах! — и некий ловкий парень, звать Михаилом, сбивает нашего солдата, поэта и финансового воротила буквально на взлете, превращает его в нищего мудака с судимостью. Выходило, что я напрасно три года безвылазно просидел в офисе и еще три года — в следственном изоляторе. Я крупно проиграл, я все проиграл; я отброшен ровно на шесть лет назад и должен все начинать сначала.

Мой бывший друг отгрыз десятую часть моей жизни. Шесть лучших лет сгорели впустую — попробуйте, Наверстайте, когда нет своего жилья и здоровья, когда не знаешь, кому верить.

Два слова о деньгах. Денег было ровно 1 (один) чемодан. В чемодане лежало четыре московские квартиры с видом на Кремль. Чемодан хранился у друга. Друг растаял в тонком воздухе вместе с чемоданом.

Я освободился в апреле, искал его до середины лета, не нашел ни его самого, ни денег. Уцелели какие-то сбережения — семья потихоньку их проедала. Вокруг текла обычная жизнь, московская суeta — сын уехал к бабке в деревню, жена стригла затылки богатым атлетам в парикмахерском салоне спортивного клуба, друзья двигали какие-то свои скромные затеи, у всех были семьи, дети, концы с концами — я ничего в этой жизни не понимал и понимать не хотел; меня выдержнуло из мира в девяносто шестом, и, вернувшись, я хотел опять оказаться в жирном, суетливом, пахнущем миллионми девяносто шестом, хотя кругом мелькал уже девяносто девятый — совсем, совсем другой год.

Девяносто девятый был неплохой, расслабленный и спокойный год, для всех — но не для меня.

Июль и август я ходил, несколько пошатываясь. Мне казалось, что я мокрый и грязный, что я ко всему прилипаю. Попытки как-то встряхнуться, отвлечься, забыться, хотя бы на четверть часа, приводили к неконтролируемым вспышкам лихорадочного, злобного веселья, некрасивого хохота, они сменялись еще более глубокими приступами уныния. Возможно, меня вылечил бы ребенок, но его отправили на свежий воздух аж до сентября. Или это было к лучшему? Негоже детям видеть родителей в состоянии опущенности.

Опущенный папа подходил к зеркалу и испытывал род наваждения. Ему мнилось, что все отверствия в голове

увеличились: рот, ноздри, глазные впадины. Само же лицо обрело неестественную, почти кататоническую неподвижность. Опущенный папа похудел и при этом опух, отвратительная комбинация, а все из-за пива: он слишком много пил пива; и потом, чувак соскучился по пиву: в тюрьме всегда можно раздобыть водку или спирт, а вот пиво — никак.

Много думал. Проектировал различные палаческие комбинации. Например: купить дом в глухом месте, в Ивановской области; не получится — арендовать дачу; поймать, посадить на цепь, далее — резать, по живому, далее — умертвить и расчленить.

Опущенный папа сменил три тюрьмы, шесть камер, не считая одиночек и карцера, он месяцами пил чай с конфетами в компании людей, на которых висело по десять-пятнадцать убийств, — никто из них не показался ему особенно умным, или коварным, или ловким, или кровожадным. Один внимательно следил за президентскими выборами девяносто шестого года, вырезал статьи из газет, клеивал в альбомчик. Другой уважал шахматы и великолепно лепил из хлеба. Третий был интеллигентнейший, обходительнейший, предупредительнейший миляга, всегда говорил мне «доброе утро». Впоследствии я видел посвященный ему документальный фильм: он руководил бандой, его люди отрубили человеку ноги, затем из средств банды купили и подарили инвалидную коляску.

Ограбленный папа представлял себе бывшего друга Михаила — с отсеченными ногами, в инвалидной коляске — и вдохновлялся.

Можно ампутировать и руки тоже. Отрезать язык. Пусть смотрит и мычит.

Безусловно, далее рассуждал ограбленный, для начала необходимо адаптироваться. После общей камеры мироощущение изменилось. Бывший арестант слишком груб

и тверд для вольной жизни. Слишком часто кидает по сторонам подозрительные взгляды. Все время под балдой, глаза налиты кровью. Иногда на улице прохожие смотрят на него с опаской. Даже оглядываются. А жена прямо говорит, что он черный и кривой и ей неуютно. Видно, что она чего-то ждет. Не Михайловых долларов, нет — каких-то перемен в муже. Метаморфозы. Шагов от монстра к человеку. Ее не хотелось разочаровывать. Супруга расцвела и повзрослела, она водит машину, она служит в фитнес-центре на Кутузовском проспекте, куда приезжают наращивать мышечную массу влиятельные негодяи. Когда кто-нибудь из них ведет себя неподобающе, слишком развязно, бесцеремонно, невежливо — она не лезет за словом в карман. Любого одергивает сразу. «Все вы хороши, сначала пальцы гнете, а потом бегай, таскай вам передачи!» Негодяи молчат в тряпочку, уязвленные.

Ничего, шептал я себе под нос. Привыкну, возрасту в свободу. В конце концов, это приятно: заново приучать себя к воздуху, солнцу, цветам, жареному мясу, сладкому вину. И полусладкому. И сухому, и полусухому.

Тюрьма позади, теперь мне все праздник. Пора учиться ходить, слегка пританцовывая.

Я найду его и убью, слегка пританцовывая.

Повторяю: девяносто девятый год — вторая его половина — показался мне спокойным и простым отрезком истории. Главной темой были, разумеется, последствия дефолта девяносто восьмого. Точнее, мизерность этих последствий. Я вышел на волю спустя восемь месяцев после событий и увидел Москву как город бодрый и весьма воодушевленный тем, что жизнь продолжается. Экономика цела, она всего лишь споткнулась, вместо финского и немецкого твора в магазинах продавался российский, не сильно хуже. Меня, провонявшего шконкой, особенно поразило обилие

молодых женщин, управляющих шикарными автомобилями. Женщины выглядели расслабленными. Три года назад каждую такую женщину могли выкинуть из машины на любом полутемном перекрестке — сейчас все спешили забыть о диких временах, перекрестки сверкали огнями, а женщины — улыбками. Государственная система восторжествовала. Расшатанная в бестолковые истерические девяностые, Москва могла превратиться в огромную воровскую малину, погруженную в хаос и рассекаемую бешено несущимися лимузинами продвинутых убийц и аферистов, — этого не произошло, и я, бывший богатый человек и бывший зэк, ожидающий от каждого встречного небритого мужчины удара ножом в живот, либо кулаком в лицо, либо как минимум оскорбления, чувствовал себя не в своей тарелке. Никто меня не оскорблял, не обнажал клинка. Даже закурить не спрашивали. Все работали, зарабатывали, тратили, и черные кожаные куртки висели в магазинах мало-востребованные.

Дефолт не привел к концу света. Нефть дорожала. В премьер-министры продвинули невысокого сдержанного человека по фамилии Путин.

Предвкушение казни — хорошее состояние. По крайней мере, когда я все окончательно решил, то почувствовал себя помолодевшим. Повеселел. Сначала изображал бодрого, потом вошел в роль и действительно сделался бодрым. Даже шутил на улице с незнакомыми людьми, чего за мной давно не замечалось.

Приоделся. Набрал вес. Ел с аппетитом. Готовил сам. Ежедневно лично ходил на рынок, покупал мясо, травы, специи; стоял у плиты по два часа в день. Пил мало. Спешить было некуда. Может быть, бывший друг Михаил ожидал, что я мгновенно разыщу его и нагрюну, белый от гнева, с револьвером наперевес, — я провел весь август

на собственной кухне, поджаривая стейки и эскалопы под аккомпанемент Вангелиса.

Пообедав, заваливался на диван читать «Историю гестапо».

Думать о казни было легко и естественно. Я возненавидел бывшего друга сразу, всем своим естеством. Как такое может быть, думал я, что этот смрадный упырь ходит по одной земле и дышит одним воздухом со мною? И почему я не сумел разглядеть в нем гада? Каким способом он сумел загипнотизировать меня? Или тогда, в прошлой жизни, до тюрьмы, во времена бешеных денег, он был другим человеком — нормальным, полноценным, — а потом не выдержал давления обстоятельств и переродился, ссучился?

Иногда самообладание покидало меня, и я бродил по дому, излучая в пространство ненависть. Перед глазами сами собой возникали картины, одна другой красочнее: вот я захожу ему за спину, вот глубоко запускаю указательный палец в его мокрую ноздрю, заворачиваю вверх и назад, а затем быстро полосую лезвием натянутый белый кадык. И тут же, ударом ноги в спину, отталкиваю его от себя. Он падает, хрипит и булькает, растекается горячая кровь, и глаза у него уже бессмысленно-прозрачные, а руки и ноги проделывают сложные движения... Или удушение. Повесить предателя на люстре и смотреть, как он будет дергаться, как извергнет в смертном ужасе мочу, кал и семя...

Или раскаленная пуля в затылок...

Кстати, люстра — это глупость, в нем почти сто килограммов, никакой крюк не выдержит...

Я стал подолгу размышлять о насильственной смерти. О насилии как таковом. Мне не требовалась месть, нет! Я хотел большего. Я намеревался избавить людей, весь род людской от проклятого ублюдка. Ведь ему всего тридцать пять лет! Скольких еще простаков вроде меня он обманет

и предаст? Скольким воткнет в спину нож? О, в те дни я мнил себя хирургом, спешащим отсечь пораженную конечность, дабы не погибло все тело общества. Бывший друг виделся мне именно так, в виде гангренозной ступни или лодыжки. Отрезать, ликвидировать, стереть с лица земли, улучшить человеческую породу! Кто сказал, что евгеника — лженаука?

Я родил одного сына, говорил я себе, а он уже двоих! Эта информация, донесенная общими знакомыми, особенно поразила и возбудила меня. Пока я сидел, эта крыса размножалась. Целых два сына, два маленьких Михаила! Два живых, активных, взрослеющих контейнера с порченной черной кровью! Смотрите-ка, ухмылялся я, парень не терял времени. Укоренил на земле свою ущербную генетику. Нет, я не должен мстить. Я обязан устранить опасный сорняк, именно так обстоит дело!

Потом была осень. Деньги кончились, пританцовывать уже не хотелось.

В сентябре приехал из Таганрога Миронов: загорелый, в белых штанах человек. Я его не звал и не ждал от него слишком многого, но, когда друг приехал, я обрадовался так, словно крыса Михаил был уже пойман, умерщвлен и надежно закопан. Выслушав историю моего унижения, Миронов сказал, что ожидал чего-то подобного, и я наорал на него. Со своей стороны я был прав. Так прокомментировать может любой дурак. Но гость не обиделся.

Осень и коньяк как будто созданы друг для друга. Один из рецептов благодати: сентябрь и полбутылки хорошего алкоголя. Даже я, отравленный бедой, почувствовал легкость и ту особенную благородную печаль, которая не мешает жить, а помогает или даже велит. Пьяный, нищий, а живой; дышу, глотаю, мыслю.

Давно не виделись — я расспрашивал обо всем и обо всех. Пока я сидел, старый товарищ объездил половину страны. Управлял водочным заводом в Осетии и рестораном в Элисте. Он был универсал, но не настолько, чтоб помочь в моей палаческой затее; мы оба это понимали.

Впрочем, он первый начал. Посмотрел, как я забрасываю в себя содержимое очередной рюмки, и сказал:

— Ты много пьешь.

— Ты тоже.

— Но я, — возразил Миронов, — не собираюсь никого убивать.

— А я, по-твоему, собираюсь?

— По тебе, — мягко ответил друг, — это видно.

— Мне все равно.

— Тебя посадят. Надолго. За убийство.

Я тихо засмеялся.

— Убийства не будет. Человек просто пропадет. Бесследно. Нет тела — нет дела. Искать его некому. У него нет друзей. Только бывшие жены, две. Обе его ненавидят...

Миронов молчал, курил, глядел в пол.

— Разрежу крысу на куски, — радостно продолжил я. — И раскидаю по подмосковным лесам. Себе оставлю кусок кожи. Со спины. Просушу, отскоблю. Сошью тетрадь. Или две тетради. Вторую могу подарить тебе.

— Спасибо. Обойдусь.

— Ну и зря. Ты пьешь сырые яйца?

— Это вредно. Можно подхватить сальмонеллу. А что?

— Чтобы выпить яйцо, надо сделать две дырки. В одну высасываешь, через другую проникает воздух, заполняя пустоту... Так же и с трупом: чтобы стекла кровь, делаем разрезы в двух местах, на ногах и возле шеи. Подвешиваешь на крюк, за ключицы, а внизу ставишь тазик, и туда...

— Хватит, — сказал Миронов, убирая бутылку. — У тебя крыша едет, брат.

Я грустно кивнул. Друг был близок к истине.

— Мой предок, — на меня напала икота, — прапрадедушка, был старовер. Жил в деревне. В нижегородских лесах. Потерял руку на войне, Русско-турецкой... А в преклонном возрасте, управляясь, заметь, только одной рукой, запрягал лошадь в сани, ехал в лес, рубил дерево, освобождал от сучьев, грузил бревно и привозил в хозяйство. Это у него понты такие были. Мужичья бравада. То есть в моем роду были любители помахать топориком. И я помашу. Расчленю гада...

— Ты бы лучше съездил отдохнуть, — осторожно высказался Миронов, внимательно за мной наблюдавший.

— У меня нет денег.

— Что-нибудь придумаешь. Дом отдыха, бабушка в деревне... Спать, кушать, ни о чем не думать... Пойдешь на убийство — тебя посадят. Надолго. Испортишь жизнь себе, жене, сыну, матери с отцом. Ты к этому готов?

Миронов знал, о чем говорил. Два года назад он развелся, оставив трехлетнего сына, которого очень любил. Я видел, как он мучился от бессилия все исправить.

— Не знаю, — пробормотал я. — Убить очень хочется. Невыносимо. А сидеть, ясное дело, не хочется. Поймают — дадут лет двенадцать. Вернусь прочифиренный, харкающий кровью, без зубов и мяса на костях...

— Вот именно, — сказал Миронов. — Не убивай никого. Езжай к бабушке в деревню.

— Моя бабушка умерла. Пока я сидел. Ладно. Не держайся. Я еще ничего не решил.

Гость засобирался. Я проводил его к метро, потом шел обратно, погруженный в сомнения. Отчетливо понимал, что хочу этих сомнений. А убивать не хочу.

Когда друзья качают головами и не спешат на помощь — это одно. Когда качает и не спешит лучший из них, самый верный, умный и опытный — это немного другое. Когда понимаешь, что тебя никто не поддержит, когда рвешься, а твои близкие хватают тебя за штанины и кричат: «Не делай этого!», когда остаются только двое, ты и твой враг, и больше никого на всем белом свете — тогда получается, что казнь, месть, насилие, разрушение живой ткани нужны только одному человеку — лично тебе.

Проблема была в том, что я ни одного дня не жил только лишь для одного себя.

Зиму я провел, почти не выходя из дому.

Быт рухнул. То, что когда-то проходило по разряду пустяковых неприятностей, теперь становилось драмой. Отвалившийся каблук жены, порванные штаны сына, ежемесячная уплата квартирной аренды, деньги за детский садик, за телефонные переговоры, за бензин. Регулярная, на бумажке, калькуляция насущных расходов, вплоть до мельчайших. Стиральный порошок, бритвенные лезвия.

Домашняя техника как будто ждала: в течение трех недель сгорели пылесос, кофемолка и утюг, и я перестал доверять технике. Особенно пылесосам и утюгам.

Я в любой момент готов припомнить любому утюгу тот серый и ветреный октябрь девяносто девятого, когда хотелось поддержки с любой стороны, хоть бы и со стороны утюга, — но даже мой утюг, сука, мне не помог. Чего уж о людях говорить.

Американские бизнесмены, обанкротившись, весело устраиваются разносчиками пиццы. Сменил машину и прическу (а то даже и жену) — и вперед, в новую жизнь.

Русские дворяне, бежавшие от революции, потеряли миллионы, особняки, поместья. Набоков упомянул об этом